

РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

*Б.В. ДУБИН***Позднесоветское общество
в социологических разработках
Юрия Левады 1970-х годов**

По мере того, как “девяностые” стали отходить в прошлое и, напротив, все определеннее проступали черты нового социально-политического режима “нулевых годов”, социальные аналитики и аналитически ориентированные публицисты начали задаваться, среди прочего, вопросами о том, по каким причинам, какими силами и с помощью каких механизмов оказались прерваны, обесценены или в корне преобразованы крупномасштабные реформы, заявленные политической властью на рубеже 1980-х–1990-х гг. и поддержанные тогда наиболее активной, квалифицированной частью советского общества? Далее, вполне логично, не могла не возникнуть проблема: какими средствами и с опорой на какие силы собирались в ту пору реформировать или, в другом развороте темы, что именно в устройстве позднесоветского социума и почему распалось в девяностые вместе с СССР, а что, при чьей поддержке и на каких правах, напротив, сохранилось и подпитывается до нынешнего дня?

В частности, этот комплекс вопросов был поставлен и так или иначе развернут участниками репрезентативной конференции 2009 г. “Разномыслие в СССР и России (1945–2008)”¹. Главными и сквозными для большинства выступлений на ней оказались, подытожу, три проблемных пункта:

- границы и формы разномыслия и, шире, социального, культурного, идейного разнообразия на поздней фазе существования советского общества (собственно 1970-е–первая половина 1980-х гг.);
- факторы, приведшие к развалу СССР в начале 1990-х гг.;
- причины того, что реформы не пошли дальше, а оказались прерваны к середине и во второй половине 1990-х гг.

¹ Она была организована 15–16 мая 2009 г. Европейским университетом в Санкт-Петербурге совместно с Благотворительным фондом имени Д.С. Лихачева, петербургским Центром независимых социологических исследований и Научно-информационным центром “Мемориал”. Стимулом для выступлений и дискуссии собравшихся стала недавняя книга Б. Фирсова “Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики” (СПб., 2008), автор которой принял во встрече и обсуждении самое деятельное участие (подробнее о конференции см.: http://www.eu.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1126&Itemid=0).

Как один из участников конференции и в соответствии с заявленной в ее заглавии темой я тоже попытался до некоторой степени ответить на обозначенные выше вопросы хотя бы кратко. Причем сделал это особым образом, с помощью двойной рефлексии – как бы “словами Юрия Левады”, то есть развивая идеи, выдвинутые им на протяжении последнего советского десятилетия и, отчасти, подхваченные и углубленные в ряде работ более поздних лет.

В данной статье, развивающей тезисы выступления на петербургской конференции, я, во-первых, собираюсь коротко и в основных чертах охарактеризовать социологический замысел Левады, как он был сформулирован в его работах середины 1970-х–середины 1980-х гг., то есть актуализировать этот замысел в качестве значимого компонента эпохи, сегодня уже отошедшей в прошлое, для многих малознакомое и даже чуждое². Во-вторых, я попробую отозваться на проблематику названной конференции, выступления ее докладчиков, ход прошедшей тогда дискуссии. Иными словами, условные “семидесятые годы”, о которых я стану говорить (по Леваде, это 1968–1985 гг., с выделением подпериода между высылкой А. Солженицына из СССР в 1974 г. и прекращением выпуска неподцензурной “Хроники текущих событий” в 1982 г.), будут выступать далее и хронологическим *этапом работы* Левады-теоретика и, одновременно, *предметом его анализа*, для которого он вырабатывал в то время теоретическую рамку и ряд ключевых понятий. Прежде всего я опираюсь здесь на работы Левады 1970–1980-х гг. по смысловой структуре социального действия, печатавшиеся в 1974–1984 гг., как правило, в малотиражных и труднодоступных изданиях и позднее включенные в его книгу [Левада, 1993], а также на две важные статьи конца 1990-х–начала 2000-х гг. и еще несколько тематически примыкающих к ним материалов [Левада, 1998; Левада, 2001]³.

В ретроспективной левадинской характеристике семидесятых годов как эпохи “подтачивания монолита” советского общества сталинской эпохи (иногда Левада говорил о “разрушении концепции монолита” и, замечу, не раз подчеркивал “вынужденный, а потому основательный” для всех участников характер этого процесса) я хотел бы для начала обратить внимание на несколько моментов. Они, среди прочего, определяли формы и пределы тогдашнего “разномыслия”, которое, в первую очередь, практиковалось достаточно узкими кругами интеллигенции, образованного слоя и, естественно, в заметно меньшей мере, – массой населения, прежде всего городского (напомню, что во второй половине 1960-х гг. среднее образование стало в СССР всеобщей нормой, а большинство населения – жителями городов того или иного уровня и типа). Вот эти моменты:

– по преимуществу *пассивный и реактивный характер* сосуществования интеллигенции и массы с властью: «Никакого единого и тем более организованного “движения” сопротивления режиму или официальной идеологии не существовало» [Левада, 1998, с. 76];

– *соглашение* интеллигенции с властью в той или иной степени в разных случаях, “лукавая сделка” сторон [Левада, 1998, с. 72] (Левада, отмечу, был далек от какой бы то ни было идеализации образа и роли интеллигентского слоя⁴), что выразилось, среди прочего, в ментальной конструкции советского двоемыслия – и подтачивавшего “монолит”, но и парадоксальным образом его консервировавшего, растягивавшего процесс распада, поскольку оно по преимуществу дистанцировало от сложившегося

² В более развернутом виде экспликацию теоретических идей Левады см. [Гудков, 2007^а; 2007^б; Шалин, 2008].

³ См. также [Левада, 1989; Левада, Ноткина, Шейнис, 1991].

⁴ “Реальное историческое существование русской интеллигенции ограничено примерно рамками 60-х годов XIX века–20-х годов XX века”, – писал Левада; позднейший период ее существования он называл “фантомным” [Левада, 1993, с. 157]. При этом роль образованных слоев в советском и постсоветском обществе была предметом сквозного интереса Левады, начиная со статьи “Интеллигенция” в известном “словаре нового мышления” “50/50” (М., 1989) [Левада, 1993, с. 156–158] и работы “Проблема интеллигенции в современной России” [Левада, 1994, с. 208–214] до статьи “Элитарные структуры в советской и постсоветской ситуации”, ставшей для автора последней [Левада, 2007]; опубликована в [Гудков, Дубин, Левада, 2007].

официального порядка, но вместе с тем, блокировало выработку альтернатив, реально ограничивало инако- и разномыслие;

– преобладание со всех “сторон” – и во власти, и среди ее критиков, и у интеллигенции, и у массы – логики наличной ситуации, поглощенность “текущим моментом” при малой заинтересованности *последствиями* предпринимаемых шагов, невнимании к общим перспективам (расчет только на короткое время, вне координат будущего и глубинной перспективы исторического прошлого, учета его символической значимости);

– феномен *заложенничества* как своеобразного механизма упрощенной, вырожденной, негативной социальной связи, “сила” которого состояла именно в простоте и чье действие (негативное!) в конечном счете также способствовало разрушению упомянутого “монолита”; Леваду, в частности, интересовало действие заложнического механизма на мышление и поведение интеллигенции, в особенности – в периоды “подписантства” и в связи с теми или иными отклонениями единиц от соглашательского стандарта большинства;

– ориентация интеллигенции на *ценности*, дистанцировавшие и отличавшие “своих”, “нас” от “них”, “власти”, а не на обобщенные *программы*, которые могли бы объединять многих, – в конечном счете, направленность прежде всего на деструкцию сложившегося порядка и в сравнении с этим слабость конструктивных планов, идей и соображений [Левада, 1998, с. 77–78].

Как мне кажется, в теоретико-социологических работах Левады середины 1970-х–середины 1980-х гг. можно видеть своего рода аналитическую контрпрограмму по отношению к перечисленным выше моментам по преимуществу адаптивной поведенческой тактики советской интеллигенции и массы в целом. Но не только к ним. Данные работы Левады были – по условиям и возможностям времени – скрыто и открыто полемичны, причем спор в любом случае шел по принципиальным вопросам. Главными мысленными оппонентами Левады при этом выступают марксизм (в частности, упрощающий экономизм в понимании индивидуального действия и коллективного поведения), структурализм в его трактовке культуры как системы, бихевиоризм (атомизация и психологизация социального действия по образцу “стимул–реакция”), символический интеракционизм с его пониманием общества как системы обменов, отечественная этнография в ее опять-таки упрощенческих представлениях о “материальной” и “духовной” культуре. Соответственно, в этой полемике важнейшую концептуальную нагрузку получают у Левады именно понятия “культура”, “символ”, “игра” (символических и игровых структур социального действия)⁵.

Предварительно обобщая, можно сказать, что основными проблемами (проблемными планами) аналитической проработки Левады, его социологического замысла или программы становятся теоретические лакуны и дефициты тогдашней социологической теории, в том числе – отечественной⁶. А именно такие (выстраиваю их в хронологической последовательности авторских разработок):

– понятие культуры (символические структуры действия);
– специфически сложный (предельный) тип социального действия (игра);
– специфически упрощенный тип общества (мобилизационное общество, несущее на себе наследственные черты экстраординарного, насильственного социального перелома, долгое время не принимающее поэтому ценностного порядка повседневности, а пытающееся вместо этого институционализировать “чрезвычайные” общественные состояния, поставить “экспесс” на службу власти и ее планам);

⁵ Из более поздних работ Левады сюда относятся статьи “Индикаторы и парадигмы культуры в общественном мнении” [Левада, 2000, с. 305–322] и “Люди и символы” [Левада, 2006, с. 187–201]. Подробнее об этой проблематике см. [Дубин, 2007].

⁶ Отмечу одну особенность его теоретической работы: особое внимание, с одной стороны, к сложным формам взаимодействия и открытым смысловым структурам, а с другой – к вырожденным “простым” случаям и разновидностям замкнутого, изолированного действия.

- специфические типы социального процесса (“понижающая адаптация”, с одной стороны, “аваланш” и следующая за ним “рутинизация чрезвычайности” – с другой);
- специфический антропологический тип (“советский человек”);
- понятие “эра-элит” или “назначенных быть элитой” в условиях советской и постсоветской России, коррелятивное с более ранней категорией “наведенной харизмы” правителя в советских условиях.

Основные проблемные узлы

Основные узлы проблематики, вокруг которых концентрируется мысль Левады в указанное десятилетие, относятся к основополагающим аспектам советской модели общества, условиям ее воспроизводства, внутренним ограничениям эффективности и факторам нестабильности (дестабилизации). Попробую схематизировать и систематизировать хотя бы некоторые из них.

1. **Социальная организация советского общества.** В работах первой половины и середины 1970-х гг. Левада аналитически реконструирует морфологическую структуру российского и советского общества в рамках концепции урбанизации как многомерного, долго- и разновременного, даже разнонаправленного социокультурного процесса. Он описывает российский (советский) социум как специфический, централизованно-иерархический тип центропериферийных отношений. Символические (интегративные) функции системы и соответствующие сверхзначимые образцы коллективной идентификации сосредоточены при этом в центре (столице), нормативные (нормозадающие) иерархизированы по оси безальтернативной и внеконкурентной власти, которая выступает и основой социальной стратификации, периферии же – а она составляет преобладающую часть страны – отводится чисто исполнительская роль и функция ресурса (человеческого и др.). При этом отношения между центром и периферией, реализация поступающих из центра культурных образцов опосредуется социальным и модальным барьером, “преодоление которого требует снижения уровня реализации образца” [Левада, 1993, с. 43]. “Вырожденным случаем” описанного структурного принципа (а подобные упрощенные варианты чрезвычайно интересовали Леваду как теоретика сложного, символически опосредованного действия) выступает “иерархия, сведенная к одной ступени – когда центральная структура непосредственно соотнесена с периферией и задает последней весь объем ее (значимой) деятельности” [Левада, 1993, с. 43].

Такая система построена по принципу матричного воспроизводства – упрощенного дублирования центральных, структурообразующих форм и функций (прежде всего – отношений власти) “на местах” и на любых уровнях социума. Речь идет не просто о ситуативном “ухудшении”, “халтуре”, поведении “сачка”, плохом исполнении образца в процессах его восприятия и воспроизводства на периферии социума, хотя, конечно же, и о них. Левада описывает здесь функциональный механизм *торможения* как работающий узел репродуктивной системы советского общества. Речь идет о неизбежной – по мере перехода к периферии социума, можно сказать, запрограммированной – трансформации символических образцов и нормативных значений в инструментальные, подлежащие исполнению, и наоборот – о символизации и даже наделянии сверхзначимостью тех значений и действий (“планов”, “плановых показателей”), которые ориентированы на исполнение центральной “программы”, достижение поставленной цели. Другая сторона описываемого механизма – опять-таки неизбежная, запрограммированная, системная *провинциализация центра*. В качестве примера подобной провинциализации можно, в частности, назвать постоянное подтягивание в центр социума периферийного “человеческого материала” с соответствующими стереотипными установками и представлениями. Следствие этого – возникновение и разрастание в советских условиях полу- и квазигородских (поселковых, слободских) форм поселения, повседневного взаимодействия, а также выработка и межличност-

ная, в основе своей – устная, некодифицированная и принципиально не рационализируемая трансляция его смысловых образов.

Подобная жесткость социального устройства требует его поддержания столь же жесткими репрессивными средствами и ведет к гигантской “отбраковке” людей и групп, чьи инициативы, даже само их существование хотя бы в потенции, представляют альтернативу или угрозу системе. Наряду с этим в исторической перспективе подобное устройство буквально через одно поколение влечет за собой, с одной стороны, формирование компенсаторных механизмов всеобщей коррупции, “черного рынка”, “второй культуры” и т.п., а с другой – приводит к росту претензий на власть и самостоятельность со стороны различных групп социальной периферии, в частности – национальной номенклатуры и интеллигенции. Названные явления отмечаются, по меньшей мере, с конца 1960-х–начала 1970-х гг., что вызывает ответную реакцию властей (“хлопковые” и другие процессы, борьба с “подпольным” бизнесом, шаги по уничтожению диссидентства, принудительная высылка и разрешение на эмиграцию). Но одновременно происходят заметные сдвиги в идеологии, смягчение прямого социального контроля (отказ от программного утопизма и ориентации на будущее, отход от изоляционизма периода “холодной войны”, концепция международной “разрядки”, риторика “новой исторической общности людей” и др.). Тем не менее к концу 1980-х гг. эта подспудная “бомба”, можно сказать, взрывается – таков один из факторов распада СССР. Напомним, однако, что ни одна из существовавших на тот момент в стране социальных и политических сил, движений, партий не была инициатором или активным исполнителем развала советского государства. В то же время ни одна из них открыто, сознательно и сколько-нибудь последовательно не выступила на его защиту.

2. *Репродукция советского режима 1930–1940-х гг.* Теоретический интерес Левады к репродуктивной системе общества, способности системы воспроизводить свою организацию во времени, механизмам такого воспроизводства проявляется в конце 1970-х гг., на самом пике “застойных” лет. При этом Левада аналитически противопоставляет инструментальную “программу опыта”, направленную на достижение цели и оптимизацию средств такого достижения (расчет, выбор вариантов, минимизацию издержек и т.д.), и ценностно-нормативную “программу культуры”, ориентированную на поддержание структуры и образца действия как смыслового целого [Левада, 1993, с. 52–54]. Подавление импульсов к оптимизации социальной системы, ориентаций на повышение ее качества ведет, в конечном счете, к сбою ее воспроизводства. Но и десимволизация социального действия, утрата его символической значимости, а значит, редуцирование программы культуры до оперативной ориентировки в текущем дне и чисто реактивной адаптации к его нуждам, разрушает общество как систему.

При этом, с одной стороны, возникает и увеличивается разрыв между разными уровнями, подсистемами, группами, поколенческими когортами общества, нарастает его фрагментированность. В частности, это выражается в разложении правящей элиты, особенно ее верхушки, но не только. Характерно, например, что уже среди “младших братьев” того “поколения Октября”, о котором говорилось в нескольких выступлениях на упомянутой конференции, выделились молодые офицеры Великой Отечественной, создавшие “лейтенантскую прозу”, которая на протяжении 1960-х–начала 1970-х гг. противостояла официальной картине триумфального шествия Советской армии во главе с партийными вождями и при поддержке всего народа, что, конечно же, играло свою роль в подтачивании государственного “монолита”, но в еще большей мере – меняло общественную атмосферу. Тогдашняя “городская”, “деревенская”, историческая проза “шестидесятников”, их искусство (театр, кино), литературная критика и публицистика действовали в том же направлении. Неподцензурная “вторая” культура (поэзия, живопись, музыка, эссеистика) имела, конечно, заметно меньшую распространенность и действовала уже другими образно-символическими средствами (концептуализм в поэзии и живописи, музыка “хренниковской семерки”, театр абсурда и др.), другой логикой аргументации (религиозная публицистика и культурологическая эссеистика

самиздатских журналов и альманахов), но по-своему работала на деструкцию смысловых оснований официально советской, “монолитной” картины мира.

С другой стороны, функционирование общества, узлов и блоков системы (институтов), которые не связаны с реальным целодостижением и лишены возможностей оптимизации, вырождается в церемониал, повторение простого и привычного, его демонстрацию и принятие в качестве знака “стабильности”, точнее – имитирующего стабильность. Социальной ценой такого упрощения становится постепенная примитивизация или даже деградация системы – потеря стимулов к активности “снизу”, потеря управляемости “сверху”. Такова вторая “бомба”, условно говоря, подложенная под советский режим.

3. Игровые структуры действия. Левада разрабатывал понятие игры в полемике, с одной стороны, с представлением об “*homo economicus*” и допущением о его полнотой калькулируемом, исключительно рациональном поведении, а с другой – со структуриализмом, с его категориями “модели”, “моделирующей системы”, “бинарных оппозиций”. Могу предположить, что его в этот период (первая половина 1980-х гг.) теоретически занимала сама возможность, основания и принципиальные формы коллективной *самоорганизации*. Поэтому, вероятно, его и заинтересовал, казалось бы, предельный, едва ли не маргинальный для социолога тип замкнутого действия – форма социальности “из ничего”, организованной исключительно по собственным условным правилам при отсутствии (выключении) любого внешнего контекста, нормативных систем, социальных авторитетов⁷. Примерами более сложных форм игры для Левады выступало искусство (поэзия, театр); более простой формой – спорт. Левада подчеркивал (опять-таки, в полемике со структуриализмом, а также с концепцией социальных ролей, моделью “*homo sociologicus*” у Р. Дарендорфа, “драматургической перспективой” в социологии), что игра – не модель. Она не имеет функциональной значимости вне самой себя, не представляет образца для какой бы то ни было неигровой деятельности⁸, хотя неигровая деятельность может принимать характер игры, например имитировать игру, перенимать ее модальность или отдельные элементы.

Как вырожденный случай игры Левада трактовал политический церемониал, «ритуал, лишившийся своих “вертикальных” функций» [Левада, 1993, с. 103], – демонстрацию фигур безальтернативной политической власти вне социальных связей и исторического контекста, без предъявления коллективных целей и программ их достижения, а исключительно в качестве фокуса воображаемой интеграции с ними ближайших кругов и большинства населения. Смыслом действия здесь становится его граница, которая как бы вносится в центр⁹. Составляя смысловое средоточие действия (взаимодействия), она воспроизводит и поддерживает ситуацию социального раскола, разрыва социальности, поскольку отделяет “нас” от “них” и задает предельно простой образец иерархической системы, изолированной от внешнего мира и разнообразных фигур “значимых других”. В этом качестве она может лишь имитироваться, мультиплицироваться по социально-пространственной горизонтальной (“в регионах”, “на местах”) и в границах других сообществ (например, в семье или школе).

В этих категориях Левада описывает, в частности, характер власти, тип социума и поведение массового человека в России начала 2000-х гг. [Левада, 2006, с. 187–191].

⁷ В частной беседе он говорил, что хотел показать работу социальных механизмов, взяв для примера, как М. Мосс в “Опыте о даре”, один и достаточно частный случай, а получилось – как и у Мосса – принципиальное описание сложной системы взаимодействия, причем в идеально-чистом виде, когда участники свободны от инструментального достижения целей и преследования собственных частных интересов, но также и от воздействия каких бы то ни было внешних сил со стороны фигур власти, инстанций авторитета и проч.

⁸ “Самодостаточность игровых структур не позволяет считать их символами какой-то иной реальности” [Левада, 1993, с. 103].

⁹ Или иначе: символ, символический посредник не отсылает к другому, ценностно более высокому плану действия, например, не приобщает к глубинам истории или к сфере культуры, а сам превращается в “границу действия”, – ситуация, которую Левада описывает как “вырожденную” [Левада, 1993, с. 70].

Ретроспективно можно было бы сказать, что такова еще одна “бомба”, которая угрожала если не распадом, то обесмысливанием, семантической делегитимацией советского режима. Напомню, что статья об игровых структурах была опубликована Левадой в 1984 г., о людях и символах – в 2001 г. Полтора десятилетия между двумя этими датами стали для советского общества временем крупномасштабных и разноплановых перемен.

Специфика “советского человека”: масса и “элиты”

Формы и границы социально-политических, экономических, культурных и других изменений конца 1980-х–начала 1990-х гг. были заданы, как писал Левада, «слабостями “формообразующего” периода 70-х» [Левада, 1998, с. 78]. Ресурсом частичного восстановления, репродукции, “повторения” прежней системы в новых рамках, новой внутренней и внешней обстановке стала сформировавшаяся за советский период конструкция массового человека и социально, культурно, исторически связанные с ней особенности так называемых “элит” советского и российского общества. В качестве наиболее общих моментов, направленных как будто бы на установление, укрепление или хотя бы временное поддержание, частичный “ремонт” советского режима, но парадоксальным образом подтачивавших его “монолитность” и приведших к распаду СССР, я бы, обобщая соображения Левады, назвал теперь следующие:

- стремление государства к тотальному контролю над институциональной структурой общества, в пределе – полное поглощение общества государством, в действительности всегда остававшееся частичным;

- стремление государства к централизованному контролю над системами воспроизводства общества (семья, школа, культура и искусство, массмедиа), которые все более, хотя никогда не целиком, ориентируются на повторение признанных и утвержденных образов;

- как следствие указанного, дефектность механизмов целеполагания и целедостижения в рамках сложившейся системы, а потому и отсутствие механизмов ее усовершенствования (изоляция и идея исключительности советского строя и советского человека стала терять значимость даже для первого поколения людей, выросших в СССР, поскольку не могла заменить функциональную дифференциацию общества, реальное соревнование и солидарность, разнообразие траекторий продвижения и форм вознаграждения);

- отсутствие механизмов корректировки, устранения системных дефицитов и дефектов сложившегося социально-политического порядка, кроме сугубо временных мер (сама распространенность которых на всех этапах истории советского общества указывает, впрочем, на их систематический, функциональный характер). В роли таких механизмов-заместителей на разных этапах и на разных уровнях советского социума выступают различные формы “ручного управления” (“телефонное право”, подбор кадров “под начальника” по линии родства, землячества и другим аскриптивным признакам), конструкция сверхвласти без ответственности (роль вождя и его спасительного персонального вмешательства), установление экстраординарного порядка, отменяющего действие любых норм, включая правовые. Централизованное введение того или иного варианта “особого положения” приводит в действие, в частности, механизмы массовой социальной отбраковки населения, практику тех или иных “чисток”, вывод из публичной жизни целых категорий, классов, слоев, народов и т.п.;

- разрастание – по мере частичного смягчения репрессивного характера режима – форм социального взаимодействия, сосуществующих с официальным порядком, использующих его институциональные структуры, но не легитимированных его нормами в открытом виде (блат, знакомства, “подпольные производства”, черный и серый рынок, сам- и тамиздат, вторая культура и др.).

Совокупное действие перечисленных моментов (их перечень может быть уточнен и продолжен) все больше ведет к разложению “элит”, пассивности масс и общей неуправляемости системы. Этот никем не программированный и крайне плохо контролируемый процесс накоплений системных напряжений, дефицитов и дефектов может рано или поздно перерасти в общий срыв, одновременный распад всех узлов системы или, по крайней мере, разрыва связей между этими узлами.

Однако следует еще раз подчеркнуть: исполнение того либо другого действия как “плохого” или “бессмысленного”, признание тех или иных решений “временными”, а каких-то шагов “неудовлетворительными”, “половинчатыми” и проч. в данном случае несколько не означает их дисквалификацию, осуждение, отвержение участниками. Оно не ведет к улучшению деятельности или смене ее “программы”. Такое поведение подтачивает действие системы, но вместе с тем, как уже говорилось, отсрочивает ее распад. Система не имеет стимулов к движению, она не в состоянии развиваться, но вполне может существовать, длить привычное существование. Это значит, что система внутренне, функционально не дифференцирована, и вместе с тем – для нее нет “значимого другого” вовне (у нее нет ни внутренних, ни внешних “других”, что, собственно, и выражается метафорой монолита).

В таком случае допустимо предположить, что “плохие”, “слабые”, “гибридные” либо “кентаврические” социальные образования – нормальные, обычные для системы описываемого типа режимы работы. Напротив, какие-то иные формы, направленные на усовершенствование или изменение действия, его программы, воспринимаются участниками как ненормальные (“тебе что, больше всех надо?”) и, при их возникновении по каким-либо причинам, будут так или иначе пресекаться, причем как “сверху”, властью, так и “снизу”, массой. Здесь, опять-таки, действует негативный механизм социальной отбраковки, коллективного заложничества.

Рано или поздно накопление подобных системных дефектов при отсутствии альтернатив, перспективы, выбора вариантов приводит к единовременному спазматическому срыву, как бы полному обрушению системы. “Застой” сменяется “обвалом” (“аваланшем”, по выражению Левады¹⁰), то есть опять-таки чрезвычайной ситуацией, отменяющей или, по крайней мере, значительно ослабляющей действие прежних норм. На публичной сцене появляется некоторое количество “новых людей”, кандидатов в элиту из прежнего “запаса” или “подполья”. Возникают некоторые новые формы отношений – гражданских, религиозных, культурных, но прежде всего экономических, в куда меньшей степени – политических. Усилия тех либо иных подгрупп правящей “элиты” развить и использовать этот момент относительного разнообразия для более или менее глубокого реформирования системы заставляют в ответ, для самозащиты, активизироваться ее несущие, наиболее консервативные элементы (иерархические структуры политической власти, корпоративную солидарность “силовиков”, прежде всего – спецслужб). Последние в утверждении своего господства опираются теперь не на мобилизационную энергию большинства (масс), а на их – поддерживаемую большинством огосударствленных медиа – отстраненность от политики, социальную апатию и эскапизм, желание с наименьшими усилиями и утратами адаптироваться к ситуации и не потерять хотя бы того, что есть (“лишь бы не было хуже” – не лучше, а именно не хуже, то есть без подключения и максимизации собственной активности).

Иными словами, “плохое”, “слабое” состояние “человеческого материала” – не случайность и не побочный эффект, оно показывает свою функциональность в процессах пассивного выживания, принудительной адаптации. Больше того, важнейшим ресурсом частичного восстановления, воспроизводства прежней системы за временными и пространственными рамками СССР, при ее попытке уже в постсоветских условиях приспособиться к относительно изменившемуся внутреннему

¹⁰ «...извечная дилемма российских перемен: “застой” или “обвал”, – третьего пути не дано...» [Левада, 1998, с. 78].

состоянию (новые претенденты на элитные позиции) и внешнему окружению (глобальный мировой порядок) выступает именно антропологическая конструкция “советского человека”, сохраняемые им стандарты коллективного самопонимания, социального общежития, политической культуры (подробнее см. [Гудков, 2007^a; 2007^b; 2009]).

* * *

Таким образом, можно говорить о хронологической и собственно теоретической логике развития исследовательских интересов Левады на протяжении десятилетий его социологической работы. Обобщенно и условно я бы представил ее так: от морфологии советского и российского общества (“пространственно-временные структуры действия”) он переходил к условиям и механизмам его воспроизводства (“репродуктивная система”), границам действия этих механизмов (“игра”, “церемониал”), а далее – к феноменам кратковременного перелома (“аваланша”), формам привыкания к нему (“рутинизация чрезвычайности”) и ресурсам частичного, адаптивного восстановления прежнего социально-политического порядка (“советский человек”, “эрзац-элита”).

В заключение хочу отметить, что высказанные Левадой теоретические идеи и сами принципы его аналитической работы не были в должной мере оценены и продуманы в свое время, а позднее остались в целом не подхвачены, не развиты соседями по социологическому цеху. Эпоха, современники не смогли, не решились, не захотели опознать себя в тогдашней левадинской аналитике. А ведь она – и это крайне важно подчеркнуть хотя бы сейчас – была не только обобщенной социологической *теорией* (равной которой по объясняющей силе тогда попросту не было и которую поэтому с самым живым интересом искали в его тогдашних работах мы, его младшие коллеги), но и острой актуальной *диагностикой*. В ту пору, насколько могу судить, это обстоятельство практически никем не осознавалось и становится яснее – впрочем, немногим – лишь теперь, в ретроспективе.

Я вижу смысл, в частности, данной статьи – среди нескольких других сходных по намерениям попыток – в том, чтобы по возможности изменить такую ситуацию в нашей науке. Речь при этом идет вовсе не об академическом изучении наследия классика и не о методологической критике его подхода – это иная сторона дела, и время для нее, надеюсь, еще наступит¹¹.

Отмечу, что критики в данном случае столкнутся с характерной трудностью – задачей оценки и анализа исторически не воспринятого, “заживо похороненного” интеллектуального материала, который не прошел стадию рецепции, толкования, усвоения, обработки в свое время, в современной ему текущей критике и аналитике. Эта стадия была бы для текстов Левады крайне важна: они – опять-таки, по условиям времени – написаны как бы в отсутствие реального читателя и немедленного прочтения, семантически очень плотны и многослойны, иногда носят почти формульный или тезисный характер, требуют неоднократного внимательного чтения. К тому же (а это уже обусловлено особенностями левадинского характера) многое в них и впоследствии не растолковывалось автором более подробно.

Случай в истории русской культуры и науки нередкий. Тут мы сталкиваемся с методологическими и культурологическими проблемами, более общими, чем данный частный, при всей его важности, пример. Та же отечественная история показывает, что в подобных ситуациях критика нередко поддается двум распространенным соблазнам – применению логики, чуждой разбираемому автору, смыслу и контексту его работы, либо суждению и оценке по принципу “чего нет” или “чего не хватает”. Я же имею здесь в виду возвращение левадинской мысли ее социокультурного масштаба

¹¹ Первые подходы к критическому анализу работ Левады (и авторов его круга) в последнее время предприняты (см. [Габович, 2008; Ворожейкина, 2008]).

и контекста, с одной стороны, и актуальное включение его идей и концепций в собственную систематическую работу сегодняшних заинтересованных исследователей советского и постсоветского общества – с другой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ворожейкина Т.* Ценностные установки или границы метода? // Вестник общественного мнения. 2008. № 4.
- Габович М.* К дискуссии о теоретическом наследии Юрия Левады // Вестник общественного мнения. 2008. № 4.
- Гудков Л.Д.* “Советский человек” в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. 2007^а. № 6.
- Гудков Л.* Социология Юрия Левады (опыт систематизации) // Вестник общественного мнения. 2007^б. № 4.
- Гудков Л.* Условия воспроизводства “советского человека” // Вестник общественного мнения. 2009. № 2.
- Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю.* Проблема “элиты” в современной России. М., 2007.
- Дубин Б.* Традиция, культура, игра в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. 2007. № 6.
- Левада Ю.* Ищем человека. Социологические очерки. 2000–2005. М., 2006.
- Левада Ю.* От мнений к пониманию. Социологические очерки. 1993–2000. М., 2000.
- Левада Ю.* Проблема интеллигенции в современной России // Куда идет Россия?... Альтернативы общественного развития. М., 1994.
- Левада Ю.* Рубежи и рамки семидесятых: размышления соучастника // Неприкосновенный запас. 1998. № 2.
- Левада Ю.* Сталинские альтернативы // Осмыслить культ Сталина. М., 1989.
- Левада Ю.* Статьи по социологии. М., 1993.
- Левада Ю.* Элитарные структуры в советской и постсоветской ситуации // Общественные науки и современность. 2007. № 6.
- Левада Ю.* Юрий Буртин: человек и время // Новое литературное обозрение. 2001. № 48.
- Левада Ю., Ноткина Т., Шейнис В.* Секрет нестабильности самой стабильной эпохи // Погружение в трясину (Анатомия застоя). М., 1991.
- Шалин Д.* Феноменологические основы теоретической практики: биокритические заметки о Ю.А. Леваде // Вестник общественного мнения. 2008. № 4.

© Б. Дубин, 2010